

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие к русскому изданию	7
Предисловие: Имитация и ресентимент	15
1 Образ мыслей имитатора	41
2 Имитация как возмездие	130
3 Имитация как экспроприация	219
Заключение: Конец эпохи	293
Благодарности	321
Примечания	323

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ШРЕК НАВСЕГДА,
ИЛИ БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ

Авторы книг, которые в наше богатое сюрпризами время отваживаются на анализ и особенно прогноз социально-политических событий, изрядно рискуют. Процесс написания и издания занимает, как правило, не меньше года, и доставленный из типографии том имеет шанс попасть пальцем прямиком в небо. Примеров тому немало, особенно если авторами руководит не желание понять, что происходит, а стремление доказать некую идеологическую правоту, сагитировать читателя. Тем ценнее, когда события, имевшие место уже после выхода книги, подтверждают точность анализа, а сама она становится объяснением, «что это было».

«Свет, обманувший надежды» Ивана Крастева и Стивена Холмса вышел на английском языке в конце 2019 г., к тридцатилетию событий, обозначивших переломный момент в мировой политике. Падение Берлинской стены как символ краха коммунистической идеологии, а затем и ее главного носителя — СССР — воспринималось как начало «нашей эры». То есть период, когда человечество перевернуло сумрачные страницы XX столетия и вышло на торную дорогу в направлении «конца истории». Авторы — два сомневающих интеллектуала из Европы и США — задались целью понять, почему ослепительный фейерверк энтузиазма и оптимизма относительно будущего, расцветивший политический небосклон на рубеже 80-х и 90-х

годов прошлого века, превратился три десятилетия спустя в кучку тускло догорающих петард. И как получилось, что великая либеральная трансформация, начатая тогда, обернулась масштабной имитацией «лучших практик». Почему она стала в большинстве случаев поверхностным подражанием, которое не только не привело к успеху эпигонов, но и толкнуло на опасный путь сами образцы.

«Сразу после 1989 г. распространение демократии по всему миру мыслилось как версия сказки о Спящей красавице, в которой прекрасному Принцу свободы оставалось только убить Дракона тирании и поцеловать принцессу, чтобы пробудить спящее либеральное большинство», — иронизируют авторы, называя поцелуй горьким, а пробудившуюся красавицу мало похожей на воображаемый идеал. Развивая метафору, можно заметить, что история на деле воспроизвела не оригинальный сюжет Шарля Перро, а популярные в начале века фильмы о сказочном персонаже по имени Шрек. Принцессу вместо прекрасного Принца спас и очаровал малоэстетичный завсегдатай болота, а сама она оказалась в итоге не изящной девушкой, а великаншей-людоедкой, хоть и обаятельной.

Чары окончательно рассеялись через несколько месяцев после выхода книги. Пандемия COVID-19, в считанные недели охватившая весь мир весной 2020 г., будет иметь разные последствия, но главное — в одночасье осыпалась мишура имитации, генезис которой описывали авторы. Универсализм, тот самый, что, по логике либеральной глобализации, должен был преобразить человечество к лучшему, растворился в момент, когда под угрозой (неважно — реальной или воспринимаемой как реальная) оказались безопасность и жизнь граждан конкретных стран. Тут же выяснилось, что жители любого государства могут полагаться только на него, а всякое правительство — только

на себя и на собственное население. Космополитизм как образ мысли и действий, пренебрегающий границами, уперся в непреодолимые барьеры отнюдь не политической природы. А эффективность ответа на распространение инфекции не связана с социально-политической формацией, зато напрямую зависит от культуры и традиций каждого общества. Иными словами, создалась ситуация, ответ на которую невозможно *сымитировать*. Его нужно давать, исходя из реальности, существующей сейчас и *здесь*.

Забегая вперед, процитирую следующую книжку Ивана Крастева, написанную в период всеобщих карантинных и ставшую развитием этой: «Призыв “оставаться дома” подталкивает людей к тому, чтобы определять свой дом не только в прагматическом смысле — как лучшее место для жизни и работы, но и в метафизическом. Дом — это место, где мы больше всего хотим находиться в период опасности...»

Основная мысль Крастева и Холмса следующая: предполагалось, что после краха коммунизма и «конца истории» мир за пределами классического Запада будет перенимать принципы успешно действующей там либеральной демократии, так что «всесильная, потому что верная» модель скоро завоюет планету. Заодно и решая наиболее острые проблемы. На деле, однако, происходила мимикрия, которая не столько преображала переходные общества, сколько заставляла притворяться послушными учениками. Ну а притворство рано или поздно приводит к обратной реакции, что и наблюдается в Восточной Европе, причем в наибольшей степени у таких флагманов реформ, как Польша или Венгрия. «Имитационный либерализм, неизбежно ущербный и искаженный, заставил многих ранних энтузиастов демократизации ощущать себя культурными самозванцами, притворщиками. Этот психологический

кризис, в свою очередь, стимулировал легко политизируемую тягу к утраченной “подлинности”».

Россия, которой в книге посвящен отдельный раздел, случай, по версии авторов, более сложный. На раннем этапе после распада СССР руководство страны и новые элиты стремились влиться в восточноевропейский тренд. Но быстро выяснилось, что в эту матрицу Россия не вписывается. Краткий период имитации по-восточноевропейски закончился острым разочарованием, породившим другое качество подражания: Россия «перешла от имитации внутреннего западного общественно-политического устройства к пародии на американский внешнеполитический авантюризм».

«Отзеркаливание предусматривает ироничную и агрессивную имитацию целей и поведения соперника, — полагают авторы. — Задача его в том, чтобы сорвать либеральную маску с Запада и показать, что Соединенные Штаты тоже, вопреки тщательно выработанному имиджу, играют на международной арене по “закону джунглей”... После 2012 г. российские лидеры пришли к выводу, что главной слабостью политики их страны после окончания холодной войны было то, что они имитировали не реальный Запад... Так что теперь они стали одержимы идеей имитации реального западного лицемерия. Если раньше Россия больше всего беспокоилась относительно собственной уязвимости, то сейчас она обнаружила уязвимость Запада и мобилизовала все свои ресурсы, чтобы обнажить ее перед всем миром».

Оставим читателям судить, насколько они согласны с авторами, которые, кажется, уверены, что российское политическое поведение а) подчиняется надежному управлению, б) целенаправленно, продуманно и даже интеллектуально изящно, в) полностью заиклено на психологически

запутанных отношениях с Западом. Живущие в России и хотя бы немного представляющие, как на практике функционируют здесь государство и общество, сочтут первые два пункта незаслуженным комплиментом. Третье предположение, впрочем, достойно рассмотрения.

Крастев и Холмс преувеличивают одержимость Кремля и его злонамеренность, списывая, как сейчас принято в США и ЕС, на Москву гораздо больше западных неприятностей, чем она в состоянии доставить (даже во время пандемии продолжают звучать обвинения в том, как именно Россия старается разрушить Запад). Справедливо, однако, что с момента распада СССР ее внешнеполитическое поведение в огромной степени определялось тем, что делали на международной арене другие ведущие игроки. А также реакцией на собственную ситуацию, в которой Россия оказалась после внезапного коллапса советской сверхдержавы.

Крастев и Холмс отмечают важнейшее обстоятельство, которое обычно игнорируют западные комментаторы: «Падение Берлинской стены показало, что обрушение экономических систем и ожиданий убивает людей так же неумолимо, как и “горячая” война. Социально-экономические показатели России последнего десятилетия XX века напоминают показатели страны, только что проигравшей войну». Это к вопросу о том, почему было странно ожидать от русских их собственной арии в хоре ликования по поводу крушения тоталитаризма. «Русские отказались признать историю 1989–1991 гг., служившую в их глазах своекорыстному самовозвеличиванию Запада, совместной победой, в которой не было проигравших... По их мнению, Запад просил их праздновать чудесное “освобождение” России от цепей советской власти как раз тогда, когда вокруг них рушилась их страна. Эта либеральная

пантомима продолжалась в течение нескольких лет на полном серьезе».

Хотя значительная часть книги так или иначе посвящена переходным странам, ее главный герой — сообщество развитых либерально-демократических государств с рыночной экономикой, которое одержало сокрушительную и, казалось, необратимую победу в холодной войне. Крастев и Холмс фактически пишут о высокомерном ослеплении, которое заставило поверить в собственную политико-экономическую непогрешимость, погрузиться в самолюбование. Запад обратился к миру с идеей «нормальности», то есть набора критериев, которому должны соответствовать государства, если не хотят оказаться с «неправильной» стороны истории в категории «изгоев» (реальная политическая терминология конца XX — начала XXI века).

Месть этой самой «истории» оказалась коварной, поскольку бумеранг прилетел назад не от тех, кого не слишком успешно пытались обратить в истинную либеральную веру, а из недр самих западных обществ. Рубиконом стал 2016 г., когда избиратели Великобритании и Соединенных Штатов, двух образцово либеральных держав, проголосовали за противников безграничного космополитизма. «Перемены, которые вызвал Трамп, будет трудно обратить вспять, потому что они коренятся не в низкопробном и попирающем закон поведении одиночки, а в глобальном восстании против того, что широко воспринимается как либеральный имитационный императив». Кстати, в этом контексте авторы предлагают воспринимать и президента России, превратившегося в жупел на Западе: «Действия Путина... гораздо проще понять, признав их частью общемирового сопротивления безудержному, открытому для бизнеса, но недостаточно управляемому процессу глобализации, разворачивающемуся в XXI веке...»

Завершающий раздел посвящен Китаю. «Подъем Китая знаменует конец эпохи имитаций. В отличие от Запада, Китай расширяет свое глобальное влияние, не стремясь трансформировать общества, над которыми он пытается господствовать. Китай не интересуется структура других правительств и даже то, какая фракция их контролирует. Его интересует только готовность таких правительств подстраиваться под китайские интересы и вести дела с Китаем на выгодных условиях». Финал книги звучит совсем пророчески на фоне американо-китайской конфронтации, резко обостряющейся с момента начала пандемии и явно переходящей на новый уровень. «Этот конфликт может оказаться взрывоопасно эмоциональным, а не холодно-рациональным с обеих сторон. Но он не будет идеологическим. Вместо этого будет вестись ожесточенная борьба за торговые преференции, инвестиции, курсы валют и технологии, а также за международный престиж и влияние».

Замечание точное. Оно заставляет вспомнить не о холодной войне, весьма упорядоченной в том числе и благодаря ее ярко выраженной идеологической составляющей, а о кануне Первой мировой, убедительно описанном Лениным в «Империализме как высшей стадии капитализма». Тогда тоже сражались не за идеи, но борьба за рынки в сочетании со всплеском шовинизма привели в бездну. Холодная война с ее вечным балансированием на грани, которую категорически нельзя перейти, была на самом деле ответом на катастрофы первой половины XX века. Она оставила в наследство систему институтов, которые в лучшие свои годы помогали поддерживать мир и **обуздывать наиболее хищнические инстинкты**, да и до сих пор еще из последних сил выполняют эту функцию.

«Эпоха имитаций была естественным продолжением холодной войны. Она сохраняла свойственный эпохе

Просвещения пиетет перед человечностью, общей для всех», — пишут Иван Крастев и Стивен Холмс. Дальнейшее покрыто туманом. «Мы можем бесконечно оплакивать ушедшее глобальное доминирование либерального миропорядка — или можем отпраздновать возвращение в мир политических альтернатив, понимая, что “пристыженный” либерализм, оправившись от стремления к глобальной гегемонии, остается самой подходящей для XXI века политической идеей».

Последний (до сего времени) из фильмов про Шрека повествует как раз о том, как некогда устрашающему монстру-огру, раздобревшему от мирной, благополучной, но монотонной жизни в семье, захотелось альтернатив. Вспомнилось лихое и развеселое время, когда все от него шарахались, а он делал что хотел и не забивал себе голову условностями. Подвернувшийся злой маг-неудачник отправляет его в параллельное измерение, где Шрек падает к истокам. Но, насладившись сперва свободой, он обнаруживает, что оказался в мире тиранического беспредела, где в чести только хитрость, обман и грубая сила. Герой понимает, что потерял, и ценой невероятного напряжения чудом вырывается обратно в ставшую вдруг такой родной «скуку».

В сказках, особенно голливудских, чаще всего счастливый финал. В истории бывает по-разному.

Федор Лукьянов,
главный редактор журнала
«Россия в глобальной политике»

ПРЕДИСЛОВИЕ

ИМИТАЦИЯ И РЕСЕНТИМЕНТ*

*Мы все рождаемся оригиналами,
почему же многие умирают копиями?*

ЭДВАРД ЮНГ

Еще вчера будущее казалось светлее. Мы уже привыкли верить, что 1989 г. отделил «прошлое от будущего почти так же отчетливо, как Берлинская стена — Восток от Запада»¹. Нам было «трудно представить себе мир, который радикально лучше нашего собственного, или будущее, не являющееся по сути демократическим и капиталистическим»². Но сегодня мы мыслим по-другому. Большинству из нас сейчас трудно представить себе будущее, которое остается стабильно демократическим и либеральным — даже на Западе.

После окончания холодной войны надежды на глобальное распространение либеральной капиталистической демократии были огромны³. Казалось, на геополитической сцене вот-вот разыграется спектакль наподобие «Пигмалиона» Бернарда Шоу — оптимистической нравоучительной пьесы о том, как профессор фонетики за короткий срок научил бедную цветочницу говорить как королева и непринужденно вести себя в приличном обществе.

* Ресентимент (фр. *ressentiment*) — термин, введенный в философский обиход Ф. Ницше и означающий чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач («врагу»), бессильную зависть. — *Прим. ред.*

Преждевременно отпраздновав интеграцию Востока в Запад, увлеченные зрители в конце концов осознали, что разыгрывающийся перед ними спектакль идет не по сценарию⁴. Вместо «Пигмалиона» мир увидел инсценировку «Франкенштейна» Мэри Шелли — тоже поучительного, но мрачного романа об ученом, решившем поиграть в Бога и создавшем гуманоидное существо из кусков мертвых тел. Ущербный монстр чувствовал себя обреченным на одиночество, неприятие и отторжение. Завидуя недостижимому счастью своего создателя, чудовище в ярости обрушилось на его друзей и семью и уничтожило весь его мир. Результатом неудачного эксперимента по искусственному воспроизводству человека стали лишь муки совести и разочарование.

Эта книга расскажет о том, как либерализм оказался жертвой собственной триумфально провозглашенной победы в холодной войне. На первый взгляд, фатальной стала череда дестабилизирующих политических событий: атака на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., вторая война в Ираке, финансовый кризис 2008 г., аннексия Крыма Россией и ее вторжение на восток Украины, полное бессилие Запада остановить сползание Сирии в гуманитарную катастрофу, миграционный кризис в Европе в 2015 г., Брекзит и избрание Дональда Трампа президентом США. Последние отблески торжества либеральной демократии после холодной войны померкли на фоне китайского экономического чуда, организованного политическим руководством, которое ни в коем случае не было ни либеральным, ни демократическим. Попытки спасти доброе имя либеральной демократии, выпятив ее достоинства в сравнении с незападными автократиями, были перечеркнуты безответственными нарушениями либеральных норм на самом Западе — таких, например,

как пытки заключенных и очевидные сбои в работе демократических институтов. Недаром сегодня либеральных исследователей больше всего занимает вопрос, как происходит атрофия и угасание демократий⁵.

Да и сам идеал «открытого общества» как-то потускнел⁶. Для многих разочарованных граждан открытость сегодня вызывает скорее тревогу, чем надежду. Когда рухнула Берлинская стена, в мире оставалось всего 16 подобных сооружений. Сегодня построены или строятся 65 укрепленных пограничных периметров. В исследовании «Границы, заборы и стены» (Borders, Fences and Walls. State of Insecurity?) эксперт из Квебекского университета Элизабет Валле отмечает, что почти треть государств воздвигает вдоль своих границ заграждения⁷. Три десятилетия после 1989 г. прошли «от стены до стены»: краткий период утопических фантазий о мире без границ, начавшийся с эпохального разрушения Берлинской стены, завершился приступом глобального помешательства на увитых колючей проволокой бетонных надолбах, воплощающих экзистенциальные (правда, зачастую воображаемые) страхи.

Большинство европейцев и американцев теперь считает, что их детям суждено прожить менее полноценную и благополучную жизнь, чем та, что выпала им самим⁸. Общество почти разуверилось в демократии, старые политические партии распадаются или вытесняются аморфными движениями и популистскими вождями, что ставит под вопрос готовность организованных политических сил бороться за выживание демократии в кризисный период⁹. Избирателей в Европе и Америке, напуганных призраком масштабной миграции, все сильнее привлекают ксенофобская риторика, авторитарные лидеры и надежно защищенные границы. Они уже не верят, что историю XXI века украсят либеральные идеи, исходящие от Запада:

они боятся, что ей навредят миллионы людей, стремящихся на Запад¹⁰. Права человека, некогда превозносимые как заслон против тирании, ныне все чаще видятся помехой в борьбе демократий с терроризмом. Либерализм настолько разуверился в себе самом, что стихотворение Уильяма Батлера Йейтса «Второе пришествие», написанное в 1919 г., после одного из самых кровопролитных конфликтов в истории человечества, в 2016 г. стало у политических обозревателей практически обязательным рефреном¹¹. Век спустя строки Йейтса: «Всё рушится, основа расшаталась, // Мир захлестнули волны беззаконья»* — отражают самые дурные предчувствия защитников либеральной демократии по всему миру.

Бен Родс, помощник и близкий друг Барака Обамы, в мемуарах «Мир как он есть» (The World as It Is: A Memoir of the Obama White House) отмечал, что покидающего Белый дом президента больше всего волновал вопрос: «Что, если мы ошиблись?»¹² Он не спрашивал себя «Что пошло не так?» или «Кто действовал неверно?». Не был для него актуален вопрос Хиллари Клинтон: «Что случилось?»** Обаму тревожило другое: «Что, если мы ошиблись?» Что, если либералы неверно интерпретировали суть периода, наступившего после холодной войны? «Что, если мы ошиблись?» — верный вопрос, и наша книга попытается дать на него ответ.

Для нас обоих это еще и глубоко личный вопрос. Старший из нас, американец, родился через год после начала холодной войны и, будучи старшеклассником, узнал, что только что построенная Берлинская стена является воплощением нетерпимости и тирании. Второй, болгарин,

* Перевод Г. Кружкова. — *Прим. пер.*

** Название книги Хиллари Клинтон (What Happened?), вышедшей в 2017 г. — *Прим. пер.*

родился по другую сторону границы между Востоком и Западом через четыре года после появления стены и рос в убеждении, что путь к политической и личной свободе лежит через разрушение стен.

Мы происходим из разных миров, но годами жили в тени Берлинской стены. Ее эффектное разрушение, появившее во все телепрограммы, стало определяющим моментом наших политических и интеллектуальных биографий. Наше политическое мышление сформировали сначала стена, а потом — ее отсутствие. И мы тоже верили, что окончание холодной войны станет началом эпохи либерализма и демократии.

Эта книга — наша попытка понять не только то, почему мы с такой готовностью в свое время принимали эту веру, но и то, как осмысливать мир, который вновь захлестнули волны антилиберального и антидемократического «беззакония».

ОЩУЩЕНИЕ КОНЦА

Тридцать лет назад, в 1989 г., сотрудник Госдепартамента США Фрэнсис Фукуяма точно уловил атмосферу того времени. За несколько месяцев до того, как немцы начали отплясывать на развалинах Берлинской стены под аккомпанемент разрушавших ее кувалд, он провозгласил, что холодная война, по сути, закончилась. Неоспоримую победу либерализма над коммунизмом закрепило десятилетие экономических и политических реформ, инициированных Дэн Сяопином в Китае и Михаилом Горбачевым в Советском Союзе. Уничтожение марксистско-ленинской альтернативы либеральной демократии, как утверждал Фукуяма, говорило о полном исчезновении жизнеспособных системных альтернатив западному либерализму.

Коммунизм, который марксисты считали кульминацией мировой «Истории» в гегелевском смысле, неожиданно девальвировался в «такую вот историю», незначительную и преходящую, в нечто, оставшееся в прошлом и достойное лишь забвения. В этих условиях «завершением идеологической эволюции человечества» становилась «западная либеральная демократия». Теперь, когда «фашизма и коммунизма не существует», остался лишь один режим, доживший до конца XX века неизменным, — либеральная демократия. Поскольку «теоретическая истинность самих идеалов и принципов» либерально-демократического государства «абсолютна и улучшить их нельзя», перед либеральными реформаторами стояла только одна задача — «распространить эти принципы пространственно», «поднимая провинцию до уровня форпостов цивилизации». Фукуяма утверждал, что либерализм в конечном итоге одержит победу во всем мире. Но главная его идея заключалась в том, что теперь невозможно появление идеологии, «провозглашающей себя более передовой, чем либерализм»¹³.

Как признание капиталистической демократии завершающим этапом политического развития человечества должно было воплощаться на практике? Фукуяма отвечал уклончиво. Но его выкладки однозначно предполагали, что западная либеральная демократия — единственный жизнеспособный идеал, к которому должны стремиться все приверженцы преобразований. Утверждая, что последний «маяк нелиберальных сил» погасили китайские и советские реформаторы, он имел в виду, что отныне путь человечества в будущее освещает только либеральный маяк Америки¹⁴.

Уверенное декларирование того, что никакой привлекательной альтернативы западной модели не существует, объясняет, почему тезис Фукуямы тогда настолько пришелся

ко двору в себялюбивой Америке и показался настолько самоочевидным диссидентам и реформаторам по ту сторону «железного занавеса»¹⁵. За год до этого, в 1988-м, несколько самых яростных сторонников демократического плюрализма в СССР издали сборник статей под заголовком «Иного не дано»¹⁶. Настольная книга советских прогрессистов тоже утверждала, что внятной альтернативы западной капиталистической демократии не существует.

Мы бы сказали, что 1989 г. ознаменовал начало тридцатилетней эпохи имитаций. При однополярном миропорядке, в котором доминировал Запад, либерализм казался незыблемой величиной в сфере нравственных идеалов. Это идейное превосходство, в свою очередь, придало западным институциональным формам такую нормативную легитимность, что их копирование представлялось обязательным для всех, кто был на это способен. Однако после того, как первоначальные надежды на успешный экспорт западной политэкономической модели начали рушиться, мир постепенно начал испытывать отвращение к политике имитации. Откат к антилиберализму стал, похоже, неизбежным ответом мироустройству, не предусматривавшему политических и идеологических альтернатив. Именно их исчезновение, а не тяга к авторитарному прошлому или историческая враждебность к либерализму, лучше всего объясняет нынешние антизападные настроения в посткоммунистических обществах¹⁷. Убежденность в том, что «иного не дано», сама по себе подняла в Центральной и Восточной Европе волну популистской ксенофобии и реакционного почвенничества, захлестнувшую сегодня и большую часть мира. Отсутствие адекватных альтернатив либеральной демократии стало стимулом для резкого недовольства, потому что — на самом базовом уровне — «людям нужен выбор или хотя бы его иллюзия»¹⁸.

Популисты выступают не против конкретного (либерального) политического устройства, а против замены коммунистического догматизма либеральным. Посыл левых и правых протестных движений фактически состоит в том, что бескомпромиссность тут неуместна. Они требуют признавать различия и уважать самобытные особенности.

Разумеется, свести причины одновременного появления в 2010-е гг. авторитарных антилиберальных течений в разных странах к действию одного-единственного фактора нельзя. Однако решающую роль, как мы полагаем, сыграло недовольство «канонизацией» либеральной демократии и политикой имитации в целом — и не только в Центральной Европе, но и в России, и в Соединенных Штатах. Для начала обратимся к свидетельствам двух самых ярких критиков либерализма в Центральной Европе. Польского философа, консерватора, члена Европарламента Рышарда Легутко раздражает «безальтернативность либеральной демократии», ставшей «единственным признанным путем и методом организации коллективной жизни», и то, что «либералы и либеральные демократы заставили замолчать и маргинализировали практически любые альтернативы и все нелиберальные концепции политического устройства»¹⁹. Ему вторит известный венгерский историк Мария Шмидт, главный идеолог-интеллектуал Виктора Орбана: «Мы не хотим копировать то, что делают немцы или французы. Мы хотим жить своей жизнью»²⁰. Оба заявления демонстрируют, что упрямое нежелание принимать «полное исчезновение жизнеспособных системных альтернатив западному либерализму» помогло превратить породившую подражания мягкую силу Запада в слабость и уязвимость, лишив ее мощи и авторитета.

Отказ преклоняться перед либеральным Западом стал основой антилиберальной контрреволюции в пост-

коммунистическом мире и за его пределами. Такую реакцию нельзя просто игнорировать, прикрываясь банальностями о том, что «валить все на Запад» — дешевый трюк незападных лидеров, пытающихся уйти от ответственности за собственную провальную политику. История гораздо сложнее и глубже. Помимо всего прочего, это история того, как ради гегемонии либерализм отказался от плюрализма.

СЛОВА И НЕОБХОДИМОСТЬ

Определяющим политическим противостоянием холодной войны был раскол между коммунистами и демократами. Мир делился на тоталитарный Восток и свободный Запад, а общества, находившиеся на периферии основного конфликта, имели право выбирать ту или иную сторону — или хотя бы верить в то, что такой выбор у них есть. После падения Берлинской стены расклад изменился. С этого момента определяющей стала граница на геополитическом пространстве между имитируемыми и имитаторами, между устоявшимися демократиями и странами, переживающими процесс перехода к демократии. Отношения Востока и Запада из противостояния двух враждебных систем в годы холодной войны превратились в вымученное взаимодействие между образцами и подражателями в рамках единой однополярной системы.

Попытки бывших коммунистических стран походить на Запад после 1989 г. называли по-разному — «американизация», «европеизация», «демократизация», «либерализация», «расширение», «интеграция», «гармонизация», «глобализация» и так далее, но речь в любом случае шла о модернизации через имитацию и интеграции через ассимиляцию. По мнению популистов из Центральной Европы, после краха коммунистических режимов либеральная

демократия стала новой непреложной догмой. Они постоянно жалуются, что подражание ценностям, подходам, институтам и практикам Запада превратилось в императив. Упомянутый выше польский философ так высмеивал образ мыслей своих соотечественников после 1989 г.: «В копировании и имитации [оказалась заключена] глубочайшая мудрость. Чем больше мы копировали и имитировали, тем больше были довольны собой. Институты, образование, нравы, право, СМИ, язык — практически все вдруг оказалось несовершенной копией оригиналов, которые опережали нас на пути к прогрессу»²¹.

После 1989 г. сложная асимметрия между морально передовыми и морально отстающими — то есть между имитируемыми и имитирующими — стала определяющим и болезненным аспектом отношений Востока и Запада.

После падения Берлинской стены всестороннее подражание Западу повсеместно считалось наиболее эффективным способом перехода от недемократического общества к демократическому. Эта посылка сегодня стала предметом яростной критики со стороны популистов — во многом в силу заложенной в ней моральной асимметрии.

ПОТУГИ НА ИМИТАЦИЮ

Имитация, несомненно, повсеместна в общественной жизни. Известный социолог XIX века Габриель Тард в книге «Законы подражания» (The Laws of Imitation) даже утверждал, что само «общество есть имитация»²². Он писал о «разной имитации» как разновидности сомнамбулизма, когда люди повторяют действия друг друга спонтанно, без какого-либо принуждения со стороны или извне, без какой-либо стратегической цели или плана, как при копировании нашумевших преступлений²³.

Критикуя имитационный императив как самую невыносимую черту либеральной гегемонии после 1989 г., популисты Центральной Европы имеют в виду нечто менее обобщенное и более провокационное с политической точки зрения. Всеобъемлющая имитация институтов, о которой идет речь, предполагает, во-первых, признание морального превосходства имитируемых над имитаторами; во-вторых, политическую модель, декларирующую отсутствие какой-либо жизнеспособной альтернативы; в-третьих, ожидание, что имитация будет полной и безусловной, без адаптации к местным традициям; и в-четвертых, легитимное право имитируемых (и поэтому имплицитно обладающих превосходством) стран постоянно надзирать за имитирующими и оценивать их прогресс. Не заводя аналогию слишком далеко, отметим, что стиль имитации режима, возобладавший после 1989 г., странным образом напоминает советские выборы, когда избиратели под контролем партийных чиновников притворялись, что «выбирают» единственного кандидата.

Чтобы лучше понять, что поставлено на карту, следует для начала провести несколько предварительных разграничений. Как уже говорилось, прежде всего следует отличать полномасштабную имитацию одной единственно верной модели, осуществляемую (но не навязываемую) под надзором придирчивых (а порой и пристрастных) экспертов-иностранцев, от обычного обмена опытом, когда страны с пользой для себя перенимают опыт друг у друга²⁴. Первый вариант чреват ресентиментом — обидами и неприятием, в то время как второй, обычно приводящий к наглядному результату с очевидными успехами и провалами, такой опасности не несет.

Далее, что еще важнее, необходимо различать имитацию средств и имитацию целей. Первое мы называем

заимствованием, а не имитацией. Классическую формулировку этого различия предложил выдающийся экономист и социолог Торстейн Веблен, который в начале XX века писал, что японцы позаимствовали у Запада «промышленные умения», но не его «духовное мировоззрение, правила поведения и этические нормы»²⁵. Заимствование технических средств не влияет на идентичность, по крайней мере на начальном этапе, в то время как имитация нравственных целей проникает глубже и может привести к более радикальным процессам трансформации, в чем-то сродни процессу «обращения в веру». Перестраивая свои общества после 1989 г., жители Центральной Европы стремились копировать образ жизни и моральные установки, которые видели на Западе. Китайцы, напротив, избрали путь, похожий на определение Веблена, — адаптацию западных технологий для стимулирования экономического роста и повышения престижа Коммунистической партии, чтобы *противостоять* «сладкозвучному зову сирен» Запада.

Имитация морально-этических норм (в отличие от заимствования технологий) заставляет подражать тем, кем вы восхищаетесь, при этом постепенно теряя самобытность — и как раз в тот период, когда собственная уникальность и общая вера (в том числе и в себя) должна быть основой борьбы за достоинство и признание группы, к которой вы принадлежите. Господство культа инновации, креативности и оригинальности, лежащего в основе либерального мира, означает, что население даже таких экономически успешных стран, как Польша, воспринимает проект адаптации западной модели под надзором Запада как признание в невозможности избавиться от подчиненности Центральной Европы иностранным инструкторам и арбитрам.

Противоречивый запрос — быть одновременно и оригиналом, и копией — неминуемо создавал психологическое напряжение. Чувство, что тебя не уважают, усугублялось ключевой особенностью продвижения демократии в посткоммунистических странах в контексте европейской интеграции — особенностью, которую вполне можно назвать главной иронией этого процесса. Чтобы соответствовать условиям членства в ЕС, демократизируемые — якобы — страны Центральной и Восточной Европы должны были проводить политику, разработанную чиновниками из Брюсселя, которых никто не выбирал, и международными кредитными организациями²⁶. Полякам и венграм говорили, какие законы принимать и какие процедуры проводить, при этом велели притворяться, будто они управляют страной сами. Выборы стали служить для того, «чтоб уловлять глупцов»*, как выразился бы Редьярд Киплинг. Избиратели регулярно голосовали против действующих лидеров, но политика, сформулированная в Брюсселе, существенно не менялась.

Симуляция самоуправления в странах, которыми на деле управляли западные политики, уже сама по себе была изрядной проблемой. Но последней каплей стали унижительные нотации западных «варягов», упрекавших поляков и венгров в том, что те следуют демократическим процедурам лишь формально, — а ведь местные политические элиты полагали, что от них требуется именно это.

Крах коммунизма привел к психологически проблемной и даже травматичной трансформации отношений Востока и Запада, поскольку по разным причинам он заставил ожидать, что страны, отошедшие от коммунизма,

* Аллюзия на строки из стихотворения Киплинга «Заповедь» (пер. М. Лозинского): «Останься тих, когда твое же слово // Калечит плут, чтоб уловлять глупцов...» — *Прим. пер.*

должны имитировать не средства, а цели. Политические лидеры Востока, ставшие первопроходцами-импортерами западных моделей, по сути, хотели, чтобы их сограждане восприняли цели и нормативные установки этих моделей сразу и целиком, а не по частям и постепенно. Главная претензия, подпитывающая антилиберальную политику в регионе, заключается в том, что демократизация посткоммунистических государств предусматривала культурное *обращение*, преобразование в то, что почиталось «нормой» на Западе. В отличие от пересадки лишь некоторых чужеродных элементов на местную почву такая политическая и моральная «шоковая терапия» ставила под угрозу традиционную национальную идентичность. Имитационный либерализм, неизбежно ущербный и искаженный, заставил многих ранних энтузиастов демократизации ощущать себя культурными самозванцами, притворщиками. Этот психологический кризис, в свою очередь, стимулировал легко политизируемую тягу к утраченной «подлинности».

Следует отметить, что попытки слабых имитировать сильных и успешных отнюдь не новость в истории наций и государств. Но такая имитация обычно походила на мелкое обезьянничание, а не на подлинные преобразования, связанные с серьезными психологическими и социальными потрясениями, на которые решилась Центральная Европа после 1989 г. Доминировавшая в Европе XVII века Франция Людовика XIV вдохновляла многих имитаторов, копировавших ее внешний лоск. Как отметил политолог Кеннет (Кен) Джоунт, копии Версаля были построены в Германии, Польше и России. Французским манерам подражали, а французский стал языком элит. В XIX веке объектом поверхностного, «декорационного» копирования стал британский парламент, а после Второй мировой войны в Восточной Европе, от Албании до Литвы, был

создан целый ряд сталинистских режимов с одинаково уродливой сталинской архитектурой — как городской, так и политической²⁷. Важная причина такого широкого распространения косметических имитаций в политической жизни состоит в том, что они позволяют слабым казаться сильнее, чем те есть на самом деле, а это полезная форма мимикрии во враждебной среде. Кроме того, имитаторы кажутся более понятными — и безопасными — для тех, кто в ином случае мог бы попытаться им помочь, навредить или маргинализировать их. В мире после холодной войны «изучение английского, демонстративное чтение “Федералиста”^{*}, костюмы от Армани, выборы» и любимый пример Джоуитта — «занятия гольфом»²⁸ — позволяли незападным элитам не только усыпить бдительность влиятельных западных партнеров, но и предъявлять им экономические, политические и военные требования. Мимикрия под сильного позволяет слабому государству паразитировать на огромном авторитете и престиже настоящего «Версаля», не превращаясь при этом в источник национального унижения или серьезную угрозу национальной идентичности.

Говоря о непредвиденных последствиях однополярной эпохи имитаций и называя очевидный после 1989 г. имитационный императив основной причиной превращения либеральной мечты в либеральный кошмар, мы имеем в виду модели имитационного поведения и имитационной интоксикации, которые требуют большей эмоциональной отдачи и ведут к более глубоким изменениям, чем простое подражание. Речь идет о комплексном политическом преображении, которое — отчасти оттого, что оно

^{*} «Федералист» (или «Записки Федералиста») — *The Federalist Papers* — сборник из 85 статей в поддержку Конституции США. Считается обязательным источником для изучения американской демократии. — *Прим. пер.*

происходило под контролем и по указке (но не по команде) Запада, — вызывает чувство стыда и обиды, а также страх «культурного стирания»*.

В Центральной и Восточной Европе многие влиятельные политические лидеры сразу после 1989 г. приветствовали подражательную вестернизацию как кратчайший путь реформ. Имитация обосновывалась «возвращением в Европу», то есть обретением своего прежнего места в исторически естественной среде. В России ситуация была иной. Коммунизм никогда не воспринимался там как продукт, навязанный из-за рубежа**, поэтому имитация Запада не считалась воссозданием национальной идентичности.

Независимо от степени первоначально искреннего — или лицемерного — увлечения западными моделями, со временем они утратили привлекательность в глазах даже самых оптимистичных имитаторов. Реформы, скроенные по либерально-демократическим лекалам, стали казаться все менее приемлемыми по самым разным причинам, которые не исчерпываются сказанным выше. Прежде всего, западные советники, даже действовавшие с самыми благими намерениями, не могли скрыть заведомого превосходства оригинала над копией. Более того, иностранные промоутеры политических реформ на Востоке продолжали пропагандировать идеализированный имидж «настоящей» либеральной демократии даже тогда, когда признаки ее внутренней дисфункции уже невозможно было игнорировать. В этих условиях глобальный финансовый кризис 2008 г. нанес завершающий удар по доброму имени либерализма.

* То есть утраты культурной самобытности. — *Прим. пер.*

** Разве что на уровне достаточно маргинальных «почвенническо-монархических» идейно-философских исканий (популярных, однако, и в некоторых высших кругах общества). — *Прим. пер.*

Французский философ Рене Жиар много лет странно доказывал, что историки и социологи совершают опасную ошибку, игнорируя центральную роль имитации (миметизма) в жизни человека. Он посвятил свою карьеру исследованию того, как подражание вызывает психологические травмы и социальные конфликты. Жирар утверждал, что это происходит, когда образец для подражания препятствует адекватной самооценке и самореализации имитатора²⁹. Чаще всего раздражение, неприятие и конфликт вызывает имитация желаний. Люди пытаются копировать не только средства, но и цели, не только технические инструменты, но и задачи, ориентиры и образ жизни. С нашей точки зрения, это самая стрессоопасная и вредная по сути своей форма имитации, которая в значительной степени и спровоцировала нарастающий ныне антилиберальный «бунт».

По Жиару, люди хотят чего-то не потому, что это само по себе привлекательно или желанно, но потому, что этого хочет кто-то другой, — утверждение, которое ставит под вопрос саму идею автономии личности. Гипотезу Жиара можно проверить, понаблюдав за двумя маленькими детьми в комнате с игрушками: как правило, самой желанной оказывается та игрушка, которая находится в руках другого ребенка³⁰. Миметическое копирование целей других, полагает Жиар, также связано с соперничеством, завистью и угрозой для собственной индивидуальности. Чем больше имитаторы верят в то, что имитируют, тем меньше они верят в себя. Имитируемый образец неизбежно становится соперником и угрозой самоуважению. Это особенно справедливо, если вы собираетесь подражать не Иисусу Христу, а своему соседу с Запада.

Аргументы этимологического свойства, как известно, не очень убедительны. Стоит, однако, напомнить, что слово

«подражать», вероятно, происходит от того же корня, что «разить», изначально связанное не с почтительным восхищением, а с безжалостным соперничеством. Сын хочет быть похожим на отца, но тот подсознательно внушает ребенку, что его амбиции необоснованны, что заставляет сына ненавидеть родителя³¹. Эта схема не так уж далека от того, что мы наблюдаем в Центральной и Восточной Европе, где, по утверждениям популистов, навязанный Западом имитационный императив убедил народы и страны в том, что они обречены отбросить освященное традицией прошлое и перенять новую либерально-демократическую идентичность, которая, по большому счету, никогда не станет их подлинной идентичностью. Чувство стыда и унижения, вызванное попыткой встроиться в чужую иерархию ценностей за счет утраты своих предпочтений и установок и осознанием того, что делали это ради свободы, но взамен получили презрительные взгляды за якобы недостаточное усердие, — именно эти эмоции и ощущения спровоцировали антилиберальные протесты, начавшиеся в посткоммунистической Европе, прежде всего в Венгрии, и теперь распространившиеся по всему миру.

Взгляды Жирара на причинно-следственные связи между имитацией и ресентиментом, хотя и основанные исключительно на анализе литературных текстов, вполне применимы для объяснения антилиберального бунта в посткоммунистическом мире³². Заострив внимание на конфликтной природе подражательства, он позволил нам увидеть посткоммунистическую демократизацию в новом свете. Его теория предполагает, что наши сегодняшние проблемы связаны не столько с естественным возвратом к дурным привычкам прошлого, сколько с отторжением имитационного императива, навязанного после падения Берлинской стены. Если Фукуяма был уверен, что

наступившая эпоха имитаций будет бесконечно скучной, то Жирар оказался более проницательным, предсказывая, что заложенный в ней потенциал экзистенциального стыда способен спровоцировать взрывные потрясения.

Ц В Е Т Ы Р Е С Е Н Т И М Е Н Т А

Истоки нынешнего антилиберального мятежа коренятся в трех параллельных, но взаимосвязанных и подпитываемых ресентиментом реакциях на декларативно канонический статус западных политических моделей после 1989 г. Этот тезис мы хотели бы всесторонне изучить и защитить, вполне осознавая его однобокость, неполноту и эмпирическую уязвимость. Наша цель — не представить исчерпывающий анализ причин и последствий современного антилиберализма, но подчеркнуть и проиллюстрировать тот аспект истории, который ранее не привлекал должного внимания. Наш сравнительный анализ непредвиденного появления реакционного национализма и авторитаризма в глобальном масштабе опирается на гибко сформулированную и отчасти спекулятивную, но, надеемся, последовательную и показательную концепцию политической имитации. Этот подход и определил структуру книги.

Мы начнем с исследования нетолерантного коммунизма популистов Центральной Европы, прежде всего Виктора Орбана и Ярослава Качиньского, чтобы попытаться объяснить, как значительная часть электората в странах, где либеральная элита, еще недавно приветствовавшая имитацию западных образцов в качестве кратчайшего пути к процветанию и свободе, вдруг стала считать копирование дорогой к гибели. Мы рассмотрим, как в регионе начали формироваться антизападные контрэлиты, берущие начало преимущественно в провинции, и как они завоевывали

серьезную поддержку общества, особенно за пределами включенных в глобальную сеть мегаполисов, монополизируя символы национальной идентичности, которые игнорировались или обесценивались в период «гармонизации» с постнациональными надгосударственными стандартами и нормами ЕС. Мы попытаемся показать, как процесс депопуляции в Центральной и Восточной Европе, последовавший за падением Берлинской стены³³, помог популистским контрэлитам, ниспровергавшим концепции универсализма прав человека и либерализма открытых границ как проявления надменного безразличия Запада к национальным традициям и наследию их стран, захватить этими идеями умы граждан³⁴.

Мы не утверждаем, что популисты Центральной Европы — безвинные жертвы Запада или что противодействие тому, что они посчитали имитационным императивом, является их единственной целью, а антилиберализм был единственно возможной реакцией на кризис 2008 г. и другие кризисы на Западе. Не забываем мы и о разворачивающейся в регионе героической борьбе против антилиберального популизма. Мы лишь утверждаем, что политический подъем популизма нельзя объяснить без учета широко распространившегося недовольства тем, что безальтернативный (навязанный) советский коммунизм после 1989 г. сменился безальтернативным (призванным) западным либерализмом.

Затем мы обратимся к чувству обиды, которое испытала Россия, столкнувшаяся с очередным раундом императивной вестернизации — по крайней мере, в России происходившее воспринималось именно так. Для Кремля распад СССР означал, что страна утратила статус сверхдержавы, а следовательно, и глобальный паритет с Америкой. Непредвиденный грозный конкурент практически в одночасье оказался

на грани коллапса, был вынужден просить помощи и изображать благодарность за советы доброжелательным, но плохо подготовленным американским консультантам. Для России имитация никогда и не предполагалась синонимом интеграции. В отличие от стран Центральной и Восточной Европы, Россию как кандидата в НАТО или Евросоюз всерьез не рассматривали. Это слишком большая страна с огромным ядерным арсеналом и чувством собственного «исторического величия», чтобы стать младшим партнером в альянсе с Западом.

Первой реакцией Кремля на доминирование либерализма была своеобразная форма *симуляции* — нечто вроде защитного механизма относительно слабой жертвы, позволяющего избежать атаки опасных хищников. Российская политическая элита сразу после распада СССР отнюдь не была единой. Но большинство считало совершенно естественным имитировать демократию, потому что почти два десятилетия до 1991 г. они так же естественно симулировали коммунизм. Российские либеральные реформаторы, в том числе Егор Гайдар, искренне восхищались демократией, но были убеждены, что, учитывая масштабы страны и авторитарные традиции, столетиями формировавшие общество, создать рыночную экономику при правительстве, следующем воле народа, невозможно. Создание «имитационной демократии» в России в 1990-е гг. не предполагало реальных, трудных политических преобразований. Это был только фасад, бутафория, напоминающая демократию лишь с виду. Тем не менее маскарад оказался настолько эффективен, что на время тяжелого переходного периода позволил ослабить давление Запада, требовавшего политических реформ, — они не привели бы к формированию подотчетного гражданам правительства, но могли при этом

поставить под угрозу изначально травматичный процесс экономической приватизации.

К 2011–2012 гг. демократический фарс себя изжил. Российское руководство переключилось на подпитываемую resentimentом политику агрессивной пародии — открыто враждебной и намеренно провокационной имитации. Для ее описания совсем не подходит принятый в исследованиях имитационной внешней политики термин «обучение посредством наблюдения»³⁵. Мы предпочитаем называть этот феномен *отзеркаливанием*. Раздраженный требованиями подражать идеализированному образу Запада, которые он считал догматическими и бессмысленными, Кремль решил имитировать наиболее одиозные (со своей точки зрения) политические приемы американского правящего класса, чтобы, *будто в зеркале*, показать западным «миссионерам», как они выглядят на самом деле, без грима самовлюбленности и претенциозности. Отзеркаливание позволяет бывшим имитаторам поквитаться с образцами, демонстрируя их неприглядные пороки и раздражающее лицемерие. Это яростное стремление к срыванию масок особенно примечательно потому, что оно часто становится самоцелью Кремля, достижение которой не сулит стране каких-то сопутствующих выгод и порой обходится очень дорого.

Организаторы и исполнители самого яркого образчика подобного язвительно-ироничного отзеркаливания — российского вмешательства в американские президентские выборы в 2016 г. — считали его попыткой воспроизвести недопустимое вторжение Запада во внутреннюю жизнь России. Очевидная цель состояла совсем не в том, чтобы избрать дружественного России кандидата, главное было заставить американцев на собственной шкуре прочувствовать, что такое иностранное вмешательство во внутреннюю политику. Наряду с исполнением дидактической задачи

отзеркаливание должно было продемонстрировать хрупкость и уязвимость надменного демократического режима.

Мы считаем, что Кремль, наигравшись в 1990-е гг. в симуляцию ответственности политиков перед гражданами, сегодня полностью потерял интерес к демократическим спектаклям. Вместо попыток имитировать внутреннюю политическую систему США Владимир Путин и его окружение решили воспроизводить незаконные вторжения американцев во внутренние дела других стран. В общем, Кремль пытается сконструировать зеркало, в котором Америка видела бы собственную склонность нарушать международные правила, которые она притворно уважает. Снисходительность, с которой Москва это делает, должна унижить американцев и поставить их на место.

Недовольство американизацией — мощное (хотя и не единственное) объяснение антилиберализма в Центральной Европе и агрессивной внешней политики России. А как насчет Соединенных Штатов? Почему так много американцев поддерживают президента, считающего приверженность Америки либеральному миропорядку ее самой уязвимой чертой? Почему избиратели Трампа безоговорочно принимают его экстравагантную идею о том, что США должны отказаться от роли примера для других стран и, возможно, даже перекроить себя по образу и подобию Венгрии Орбана и России Путина?

Население и деловые круги США поддержали Трампа, потому что он заявил, что от американизации мира больше всех проиграла сама Америка. Готовность, с которой значительная часть общества приняла такой отход от тщеславного мейнстрима американской политической культуры, требует объяснения. Если граждане России и стран Центральной Европы отвергают имитацию, поскольку та плоха для имитаторов и хороша только для имитируемых, то почему часть

американцев считает, что имитация плоха для имитируемых и хороша только для имитаторов? Поначалу это озадачивает. Действительно, негодование Трампа по отношению к миру, где множество стран стремится подражать Америке, будет казаться ненормальным, пока мы не поймем, что его американские сторонники считают имитаторов угрозой, поскольку те пытаются заменить собой имитируемый образец. Американцы страшатся, что их оттеснят и ограбят, с одной стороны иммигранты, с другой — Китай.

Надуманый образ Америки как несчастной жертвы ее поклонников и имитаторов, впервые возникший в речах Трампа в 1980-е гг., общественность и деловые круги тогда не восприняли всерьез. Почему же и те и другие так прониклись этой идеей в 2010-е? Ответ следует искать в проблемах белых американцев, принадлежащих к среднему и рабочему классам, а также в том, что Китай стал куда более опасным экономическим конкурентом, чем Германия и Япония. Белые избиратели посчитали, что Китай крадет у американцев рабочие места, а бизнес — что Китай крадет американские технологии. В результате эксцентричный посыл Трампа об Америке как жертве, радикально расходившийся с традиционным самовосприятием страны, обрел некое правдоподобие, которого прежде был лишен почти начисто.

Это лишь частный пример того, что политика эпигонства может вызвать ресентимент не только у подражателей, но и у самого образца; также это конкретная демонстрация того, как лидер державы, построившей либеральный миропорядок, вдруг решает сделать все возможное, чтобы его обрушить.

В заключение наших рассуждений мы обращаемся к Китаю. Это обращение закономерно, поскольку появление на международной арене напористого Пекина, готового

бросить вызов гегемонии Вашингтона, говорит о завершении эпохи имитации, как мы ее понимаем. В своем прошении об отставке в декабре 2018 г. министр обороны США Джеймс Мэттис написал, что «китайские руководители хотят сформировать мир в соответствии со своей авторитарной моделью». Он не имел в виду, что они собираются убеждать или принуждать другие страны перенимать «азиатские ценности» или привносить китайские черты в свою политическую или экономическую систему. Китай стремится к влиянию и уважению, но не к обращению мира в «веру Си Цзиньпина». Он хочет «получить право вето в решениях, касающихся экономики, внешней политики и безопасности других стран, чтобы продвигать собственные интересы за счет соседей, Америки и наших союзников»³⁶.

Грядущее противостояние Америки и Китая наверняка изменит мир, но оно будет касаться торговли, ресурсов, технологии, сфер влияния и способности формировать глобальную среду, благоприятную для совершенно разных национальных интересов и идеалов обеих стран. Речь не идет о конфликте соперничающих универсалистских представлений о будущем человечества, в котором каждая сторона старается привлечь союзников с помощью идеологической обработки или революционной смены режима. В современной международной системе асимметрия чистой силы уже начала вытеснять асимметрию самопровозглашенного морального превосходства. Поэтому называть соперничество Китая и Соединенных Штатов «новой холодной войной» некорректно. Альянсы распадаются и вновь создаются, как в калейдоскопе, долгим идеологическим партнерствам страны предпочитают краткосрочные союзы по расчету. Последствия этого невозможно предсказать, но сорокалетний конфликт между США и СССР точно не повторится.

Впечатляющий подъем Китая позволяет предположить, что крах коммунистической идеи в 1989 г. не был безоговорочной победой либерализма. Напротив, однополярный порядок стал миром, гораздо менее дружественным для либерализма, чем можно было тогда предположить. Некоторые обозреватели считают, что 1989 г., уничтожив противостояние времен холодной войны между двумя универсалистскими идеологиями, нанес фатальный урон самому проекту Просвещения* — как в его либеральном, так и в коммунистическом воплощении. Венгерский философ Гашпар Миклош Тамаш в работе «Ясность, в которую вмешались» (*A Clarity Interfered With*) пошел еще дальше, утверждая, что в 1989 г. «и либеральная, и социалистическая утопии потерпели поражение», что ознаменовало «конец проекта Просвещения» в целом³⁷. Мы не такие пессимисты. В конце концов еще могут появиться американские и европейские лидеры, способные на продуманные решения в условиях упадка Запада. Возможно, удастся найти путь возрождения либерализма как на уже известных, так и на совершенно новых основах, а потом следовать по нему. Сейчас вероятность такого исхода очень мала. Тем не менее антилиберальные режимы и движения, о которых мы здесь говорим, могут оказаться эфемерными и исторически малозначимыми, поскольку горизонт их идеологического видения ограничен и принимается далеко не всеми. История, как известно, это вторжение неизведанного. Но что бы ни готовило нам будущее, для начала нужно постараться понять, к чему — и как — мы пришли сегодня.

* Так в современной философии принято называть комплекс основополагающих идей, сложившихся в эпоху Просвещения (XVII–XVIII века) и оказавших влияние на развитие западной цивилизации Нового времени. — *Прим. ред.*